

Война в войне

Россия — страна телескопическая (как, наверное, и другие страны-государства). Множественная природа РФ (и СССР, и РСФСР, и Российской империи тоже) очевидна не только в экономическом, политическом и вообще социальном отношении, но и прежде всего — в культурной сфере. Утверждаю: ядро русской/российской культуры (словесность, искусство и фундаментальная наука) всегда существовало и функционировало в подпольном, полузапрещенном или — чаще — в запрещенном виде. Именно «виде», а не «форме»: форма, например, написанной и пишущейся в стол литературы отсутствует — её не печатают, не публикуют, не изучают, — всё это — обретение книжной формы происходило и происходит постфактум. От протопopa Аввакума до Н.И. Новикова (первого свободного русского журналиста 18 в.), до А.Н. Радищева, А.С. Грибоедова («Горе от ума» было опубликовано более чем через полвека после смерти своего автора — драма/комедия в стихах стала первым массовым образцом русского/российского самиздата), до Д.В. Давыдова (гусара, партизана, кавалерийского полковника и баснописца), до прозы О.Э. Мандельштама, до А.И. Солженицына. Именно с книжкой последнего я чуть было не погорел. Чуть было не «спалился». Бродского, вообще поэзию, и в том числе Серебряного и начала свинцового века, Булгакова, Платонова и др. мы читали тайком (и это было не так уж и давно: в семидесятые годы 20 в.!), передавая друг другу перепечатки текстов на папиросной (чаще) бумаге (седьмой экз. из пишущей машинки был уже размылен, но всё ещё «читабелен»). Однажды Дима В. (в обмен на «папиросные» стихи Мандельштама) дал мне почитать (на сутки — это было по-божески, как правило, давали читать такие вещи «на ночь») «Ивана Денисовича» Солженицына, книгу запрещённую и изъятую из всех библиотек в издании серии «Роман-газета». Шёл 1976 год. Я — студент филфака, первокурсник (это ещё до Игоря Сахновского, который присоединился к нам на втором курсе и с которым мы 4 года просидели за одной партией). Читал я «Денисыча» прямо на «парах», на лекциях, держа книгу (точнее, журнал) и пряча её в минуты шухера в парту — в отделение для портфелей (в те поры в рюкзаках носили картошку или таскались с ними в походы и на рыбалку-охоту). Так и шло: читаю — не читаю, хоронюсь, а книжка ходит туда-сюда с колен в парту и обратно. Когда «Денисыч» нырнул в стол очередной раз — прозвенел звонок. Я вышел со всеми из аудитории (а. 417 на философском) — и забыл-оставил-проворонил «запрещёнку» в парте. Вспомнил я о «Денисыче» только дома, на Уралмаше, в полночь... Господибожетымой! Я — попал. Или — «влетел», «опарафинился». Книгу найдут или уже нашли (второе — очевиднее и вероятнее). Вычислят факультет, курс и группу по расписанию. Опросят — допросят. Конечно, признаюсь. Скажу, книга моя, от деда досталась. И — меня тихо или громко вытурят из универа. И пойду я, властью палимый, к такой-то матери...

Ночью не спал. Отгонял видения: комитет ВЛКСМ, партком УрГУ, ну и просто Комитет. Волчий билет... Бедная моя мама! Она с ума сойдет: и в армии у меня было не всё гладко, не шероховато, а разухабисто и горячо, и в университете («в институте», как говорила мать) — дело швах. Вах! — везучий я, да?..

Утром в 7.00 (за 2 часа до занятий) я был «под колоннами» — у огромных дверей, барских дверей в храм науки и в мой ад. Я постучал. Я позвонил. Открыл Миша, ночной безумный сторожака. Как-то я дал ему рубль — он был не-

вероятно беден и несчастен. И он меня помнил. И — впустил. Через 10 секунд я был на четвёртом этаже, в 417-й аудитории. «Денисович» был на месте. Одна ночь Ивана Денисовича прошла спокойно для него и спасительно для меня. Такие дела.

Так мы жили. Так и живём. Политическая цензура сменилась цензурой рынка.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, куёт за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.

О. Мандельштам погиб из-за этого стихотворения. Он погибал долго — пять лет. Нынче времена иные — «вегетарианские», как говаривала А. Ахматова. Но к цензуре рынка сегодня приросла цензура иная: цензура пошлости (толпа), цензура лицемерия (власть), цензура целесообразности (политика) и т. д. Страна распалась не только социально (нищие — бедные — бизнесмены — чиновники — олигархи — правители), но и геополитически; сегодня на территории РФ существует несколько «стран»: Россия — 1 (главная), назовём её не Москва, а INMKAD (все деньги РФ сосредоточены в имперской казне и, соответственно, в кошельках и кошелёках столичного бизнеса и чиновничества), здесь даже искусство — добровольно — стало крепостным: музыканты, певцы, живописцы и т.п. живут «чёсом», корпоративами и прочей дешёвкой; словесность беллетризировалась и работает на Рублёвку, тусовку etc., — назовём такое искусство и такую «литературу» — нижепоясными («поющие стринги» и «пишущие гениталии»); Россия — 2, это метагосударственное образование, нависшее над всей страной, над Россией реальной, над РФ, — Соединенные Штаты Чиновников (СШЧ); Россия — 3, Россия денег, рынка, силовиков, коррупционеров etc; Россия — 4, страна гастарбайтеров; Россия — 5, или Сочи — Россия, страна Олимпийского Огня, страна всероссийских мероприятий международного и всемирного масштабов по «распиливанию» бюджетных целевых средств; Россия — 6, а это — «Россия, нищая Россия» — самая стабильная страна в стране; Россия — 6+n, РФ (и СССР, и Российская империя) — государство мобильное во всех отношениях, имеющее десятки своих вариантов — реализаций и функций.

Сегодня в России идёт война. Война культурная, священная война. «Посткнижная культура», переходящая в следующее своё состояние посткультурного пространства, убивает (с помощью власти) литературоцентричную культуру. И. Бродский предсказывал войну культур с различными этно-религиозным содержанием (она уже идёт), но внутри этой глобальной войны приистекает война сердцевинная. Война культуры и пошлости (толпяной, денежной, рыночной, государственной). Война в войне.

Удушение русской словесности сопровождается фронтальными, фланговыми, тыловыми и вертикальными (сверху) массивными ударами по гуманитар-

ной фундаментальной науке. Насильное реформирование высшей школы (после ЕГЭ-роботизации средней школы), её разрушение, стирание её демократических и либеральных (свободолюбивых) основ (выборов ректоров, деканов, разрушение факультетов, кафедр и т.п.), редукция набора студентов на филфаки, истфаки и философские факультеты (в Челябинском университете, ныне ЮУрФУ, в этом году не было набора студентов на филфак! — отменили чиновники; ну да, их дети учатся в сорбоннах и кембриджах, их российские вузы не интересуют), сокращение штатов ППС и т.д. и т.п., — всё это приводит (уже привело) к тому, что гуманитарная сфера науки и образования снизилась почти до нуля («нулевизация» — термин Минобра).

Однако гуманитарная сфера фундаментальной науки есть территория формирования и воспитания универсального научного мышления. Без этой сферы не было бы ни Платона, ни Пифагора, ни Коперника, ни Эйнштейна, ни Лобачевского, ни Н. Бора, ни П. Капицы, ни Л. Ландау, не говорю уж о Паскале, Спинозе, о немецких философах, о великих филологах-мыслителях и др. Любый ученый-естественник есть философ, филолог, историк и в целом словесник. Слово — это носитель этики, эстетики и научной семантической точности, а с другой стороны, стереоскопичности знаний (когнитивный аспект семантики, значения слова). Гуманитарные фундаментальные науки прежде всего — нравственны. Именно этого и боится власть. Власть — любая. Вольнодумство (то бишь нравственность) сегодня попирается, вытаптывается нефтелюбами, газоманами и целесообразниками-прагматиками, а главное — поклонниками и служителями денгиологии. Философия, история, филология сегодня власти не нужны. Вольнодумие, вольномыслие, добромыслие и великодушие (всё это — основы нравственности социальной) — не пахнут нефтью и деньгой. Любовь к нефти и газу — вот признак временщика. Стыдно смотреть социальную рекламу «Мы первые в мире по добыче газа и т.д.», — осознавая и зная, что сельская Россия (Россия — б) не газифицирована до сих пор. В России нищей газа нет. В городах есть. Не во всех, конечно. А в посёлках, сёлах и деревнях — нет. И не будет. Никогда. Почему? Потому что деньги бюджетные тратятся на сверхвысокие зарплаты и пенсии госслужащих (пенсия от 40 тыс. руб.!). Мужик, отпахавший на заводе 45 лет, получает пенсию 8–10 тыс. А невольнодумец чиновник — 40 тыс. Ножницы. Инструмент, вообще-то, режущий и колющий. Почему богатей, проторчавший и пробизнесовавший недолгое время в министерствах или в депутатах, как пенсионер богаче в десятки раз профессора, водителя, инженера и рабочего?! Почему полуграмотный чиновник не чета инженеру, учёному, механику, слесарю и врачу? Кто так решил?

Художнику — легче. Он живёт в России и Культуре. Он создаёт Красоту. Труднодоступную. Редкую. Подлинную. Способную противостоять пошлости. Пошлости толпы. Толпы, которая пользуется готовой красотой, красотичей — глянцевою, гламурной. Толпы, насыщающейся готовой информацией — занимательной, аттрактивной, пустой. Художник — творец. Или — досотворитель мира. Нехудожник — креативен. Его петляющая креативность мутна и однообразна (гламур, кровь, секс, прикол, толпа). Он питается готовыми образцами асемантической информации (сплетни, слухи, понты) и популярной, а значит, пошлой красотичкой. Главное в человеке — разум, сердце и душа. А не желудок, гениталии и социальные амбиции, производящие на свет столь приятные и вкусные микроэмоции. Человек (подлинный, нерасчеловеченный) — онтологичен (он есть часть бытия — мыслящая и страдающая, т.е. духовная) и метаэмоционален: он проживает не то, что проживает его, а то, что живёт им, — Жизнь, Смерть, Любовь, Бога и Вечность.

Художник — человек. И нечеловек. Одновременно. Если с нехудожником происходит смерть (жизнь «умирает» его), то с художником происходит божественное расчеловечивание, когда человек в художнике умирает — и остается то, что я называю Нечто. Это Нечто крупнее всего на свете. Крупнее нефти, страны, власти, денег и любого авторитета. Нечто — это то, что крупнее себя самого: Нечто крупнее Нечто. И стереоскопичность войны, её телескопичность

(выдавливание войны из войны, из которой выжимается новая война) исчезает. Исчезает вместе с ней самой. Исчезает вместе с плотью и прахом.

Эзра Паунд создал великое стихотворение (даю его в переводе Ольги Седаковой). Оно как раз об этом.

Paracelsus in Excelsis

Уже не человек, зачем я буду
Прикидываться сей эфемеридой?
Людей я знал, и как! Никто из них
Еще не сделался свободной сутью,
Не стал простой стихией — так, как я.
Вот зеркало исходит паром: вижу.
Внимание! Мир формы отменён,
И очевидный вихрь смысл предметы.
И мы уже вне формы восстаём —
Флюиды, силы, бывшие людьми,
Подобно изваяньям, в чьи подножья
Колотится безумная река,
И в нас одних стихия тишины.

Бродский похоронен недалеко от могилы Эзры Паунда. Рядом могила Стравинского. Рядом с Венецией, на острове Сан-Микеле. Острове мёртвых. Точнее — бессмертных.

Юрий КАЗАРИН